Б. ПАРАМОНОВ

Шпенглер о России

1

Вышел в России второй том Шпенглера — ровно через три четверти века после появления на русском первого тома «Закаты Европы». Я сейчас не говорю о втором издании первого тома в 93-м году, в новом переводе, с предисловием и комментариями великолепного германиста Карена Свасьяна. Но впервые Шпенглер появился по-русски в 1923 году, в очень солидном издании, которое я читал еще в 60-е годы в райском саду библиотеки ЛГУ. Там же и тогда прочитал вторую изданную в СССР книгу Шпенглера «Пруссачество и социализм» — небольшое, но очень важное для характеристики Шпенглера сочинение. Второй том я читал уже в Америке и даже писал о Шпенглере в работе о славянофильстве, касаясь темы об организмических теориях общества. Меня поразило тогда одно пророчество Шпенглера о России; теперь я, как и все, могу оценить в ту или иную сторону точность такового. Об этом мы еще будем говорить. Но, конечно, перечитать сейчас народном языке второй том было громадным наслаждением и вызвало сумятицу чувств. Я эти чувства хочу привести в порядок: извлечь из Шпенглера пример, урок и поучение.

Нужно, конечно, для начала — прежде чем перейти к теме «Шпенглер и Россия» — сказать несколько слов о концепции «Заката Европы» в целом. Основная мысль историософии Шпенглера — о мифичности понятия «мировая история»: нет единой истории человечества, как нет и единого человечества. Такое единство существует только на биологическом уровне, а в истории человек всегда и только принадлежит своей особенной культуре. Шпенглер насчитывает в истории восемь типов культуры; известнейшие из них — античная (или аполлоническая), западная или романо-германская («фаустовская») и группа так называемых магических культур. Разнствуя всячески между собой в содержательном отношении, культуры, однако, характеризуются абсолютным структурным тождеством — они проходят одни и те же стадии рождения, развития и цветения, умирания. Можно найти одинаковые структурно явления в китайской, арабской, античной, западной культуре, причем на одном и том же этапе существования, это закон едва ли не математический. В этом смысле можно говорить как бы о «современности» явлений, отстоящих одно от другого на тысячи лет в разных культурах. Умирание культуры — это переход ее в цивилизацию. Если культура — это нечто живое и способное к росту, то цивилизация — усыхание культуры, ее обеспложивание, подмена высоких целей культуры утилитарными задачами. Главное же отличие: культура религиозна, цивилизация безрелигиозна, точнее, она уже не порождает религий. На поздних ступенях цивилизации история вообще прекращается — не в смысле событий, а в том смысле, что ничего нового не создается. Не все ли равно, какой император-солдат пришел к власти в Риме? какой из Рузвельтов — Теодор или Франклин — стал президентом США? Здесь получилось неожиданное совпадение с Фрэнсисом Фукуямой, только последний видит в конце истории венец творения, а Шпенглер настроен .пессимистически. Вернее сказать, фаталистически: он призывает мужественно принять неизбежную судьбу, желать только возможного — или вообще ничего не желать. Судьба — одно из основных понятий, вернее, интуиции Шпенглера, противопоставляемое им

Печатается по: *Парамонов Б.* Шпенглер о России // Философия, история, современность. М.: Изд-во «Независимая газета», 2001. С. 114—134.

причинности. В истории действует судьба. Книга Шпенглера заканчивается знаменитой цитатой из Сенеки: «Покорных рок ведет, строптивых тащит».

Мысль о непроницаемости культур, об их абсолютной смысловой, содержательной несопоставимости, о немыслимости самого понятия всемирной истории и единого человечества вызвала наибольшее сопротивление у критиков знаменитой книги. И действительно: надо сразу же сказать, что отнюдь не эта концепция — самое сильное у Шпенглера. Сила Шпенглера — в мастерстве и проникновенности культурологических характеристик. Собственно, он и создал новую науку культурологию. А основная мысль, основное задание этой науки — обнаружить во всех феноменах рассматриваемой культуры *единство стиля*. Шпенглер показал, как надо это делать; показал вообще, что такое единство есть, что можно говорить, например, о едином строении архитектуры и дипломатии в той или иной культуре или, например, о культурном своеобразии математики: у древних греков она одна, в Западной Европе другая. (Такая мысль, кстати, есть у славянофилов.)

Во втором томе, отвечая критикам, Шпенглер посвятил целый раздел теме отношений между культурами, причем слово «воздействие» везде ставил в кавычки. Историки подсчитывают примеры влияний, но ни разу не догадались подсчитать, что не повлияло в одной культуре на другую: второй ряд будет неизмеримо богаче первого. Нужно говорить не о влиянии, а о заимствовании, причем чисто формальном, словесном. Аристотель в Древней Греции, у арабов и в европейском средневековье — это три различных мыслителя. И еще более сногсшибательный пример. Когда вышел первый том «Заката Европы», критики, в том числе Бердяев, недоуменно вопрошали: а где у Шпенглера христианство? Во втором томе он исчерпывающе объяснился: на Западе христианства в сущности не было, только заимствование ритуалов и текстов, был принят язык, на котором, однако, говорилось нечто другое. Христианство как одна из «магических» религий чуждо западному фаустовскому духу. И вместо взаимодействия и влияния Шпенглер предлагает концепцию псевдоморфоза:

В слой скальной породы включены кристаллы минерала. Но вот появляются расколы и трещины; сюда просачивается вода и постепенно вымывает кристалл, так что остается одна пустая его форма. Позднее происходят вулканические явления, которые разламывают гору; сюда проникает раскаленная масса и также кристаллизуется. Однако она не может сделать это в своей собственной, присущей именно ей форме, но приходится заполнять ту пустоту, которая уже имеется, и так возникают поддельные формы, кристаллы, чья внутренняя структура противоречит внешнему строению, род каменной породы, являющийся в чужом обличье. Минералоги называют это псевдоморфозом.

Историческими псевдоморфозами я называю случаи, когда чужая древняя культура тяготеет над краем с такой силой, что культура юная, для которой край этот — ее родной, не в состоянии задышать полной грудью и не только что не доходит до складывания чистых, собственных форм, но не достигает даже полного развития своего самосознания. Все, что поднимается из глубин этой ранней душевности, изливается в пустотную форму чуждой жизни; отдавшись старческим трудам, младые чувства костенеют, так что где им распрямиться во весь рост собственной созидательной мощи? Колоссальных размеров достигает лишь ненависть к явившейся издалека силе.

Понятно, что это относится уже и к России. Ибо одним из выразительнейших примеров псевдоморфоза является именно Россия. Продолжим цитацию блестящего текста:

Другой псевдоморфоз у всех нас сегодня на виду: петровская Русь… Примитивный

московский царизм — это единственная форма, которая впору русскости еще и сегодня, однако в Петербурге он был фальсифицирован в династическую форму Западной Европы. Тяга к *святому* югу, к Византии и Иерусалиму, глубоко заложенная в каждой православной душе, обратилась светской дипломатией, с лицом, повернутым на Запад. За пожаром Москвы, величественным символическим деянием пра-народа, в котором нашла выражение маккавейская ненависть ко всему чуждому и иноверному, следует вступление Александра в Париж, Священный Союз и вхождение России в «европейский концерт» великих западных держав. Народу, предназначением которого было еще на продолжении поколений жить вне истории, была навязана искусственная и неподлинная история… Все, что возникло вокруг, с самой той поры воспринималось подлинной русскостью как отрава и ложь. Настоящая апокалипсическая ненависть направляется против Европы… Не существует большей противоположности, чем русский и западный, иудео-христианский и позднеантичный нигилизм: ненависть к чужому, отравляющему еще не рожденную культуру, пребывающую в материнском лоне родной земли, — и отвращение к собственной, высотой которой человек наконец пресытился. Глубочайшее религиозное мироощущение, внезапные озарения, трепет страха перед приближающимся бодрствованием, метафизические мечтания и томления обретаются в начале истории; обострившаяся до боли духовная ясность — в ее конце. В этих двух псевдоморфозах они приходят в смешение.

И Шпенглер приводит примеры двух этих состояний в русском псевдоморфозе: религиозно-метафизического начала еще не родившейся самобытной культуры — и позднего, отчаявшегося нигилизма, сочетающихся на одной почве, в одной истории — псевдоистории. Это Достоевский и Толстой. Последующие страницы, при полном их блеске, вызывают состояние, близкое к шоковому, — настолько все кажется перевернутым с ног на голову, летящим, как сказал бы Достоевский, «вверх тормашки»:

Если хотите понять обоих великих заступников и жертв псевдоморфоза, то Достоевский был крестьянин, а Толстой — человек из общества мировой столицы. Один никогда не мог освободиться от земли, а другой, несмотря на все свои отчаянные попытки, так этой земли и не нашел. Толстой — это Русь прошлая, а Достоевский — будущая.

В общем-то мысль об искусственности попыток Толстого оторваться от высшей культуры, о его мужицком псевдоморфозе достаточно часто высказывалась, этим никого не удивишь. Вячеслав Иванов считал Толстого западником, сравнивал его с Сократом. Поразительно сказанное о Достоевском. Достоевский-крестьянин — это, что называется, пес plus ultra. Мы привыкли думать о Достоевском как именно горожанине в культурном смысле, и его инвективы Петербургу — городу, который однажды уйдет с лица земли с туманом (с удовольствием процитированные Шпенглером), не могли заслонить того факта (именно факта), что в Достоевском явлен новый тип русского свободного человека — фаустовски свободного. Бердяев говорил об антропологическом откровении у Достоевского. Ведь и о Достоевском можно, даже должно сказать то же, что и о Толстом, — как тот прикидывался мужиком, так Достоевский — православным почвенником. Осанна Осанной, но и нигилизма, причем именно позднего, сверхкультурного, у Достоевского хоть отбавляй. В чем тут дело? Почему Шпенглер решился на такую, что ли, стилизацию? Это становится ясным при вглядывании в основы его концепции. Конечно, и о Толстом Шпенглер нашел слова более-поражающие, чем привычная мысль об искусственности его опрощения. Он поставил Толстого в ряд с большевизмом. Думается, что на Западе заинтересованные лица были достаточно удивлены. В России, однако, и эта мысль высказывалась — Бердяевым, в его статье 1918 года «Духи русской революции». Но стоит послушать и Шпенглера — пишет он не хуже Бердяева:

(Толстой) — великий выразитель петровского духа, несмотря даже на то, что он его отрицает. Это есть неизменно западное отрицание. Также и гильотина была законной дочерью Версаля. Это толстовская клокочущая ненависть вещает против Европы, от которой он не в силах освободиться. Он ненавидит ее в себе, он ненавидит себя. Это делает его отцом большевизма. <…> Толстой — это всецело великий рассудок, «просвещенный» и «социально направленный». Все, что он видит вокруг, принимает позднюю, присущую городу и Западу форму проблемы. Что такое проблема, Достоевскому вообще неизвестно. Между тем Толстой — событие внутри европейской цивилизации. Он стоит посередине, между Петром Великим и большевизмом… Ненависть Толстого к собственности имеет политэкономический характер, его ненависть к обществу — характер социально-этический; его ненависть к государству представляет собой политическую теорию. Отсюда и его колоссальное влияние на Запад. Каким-то образом он оказывается в одном ряду с Марксом, Ибсеном и Золя…

Достоевский — это святой, а Толстой всего лишь революционер. Из него одного, подлинного наследника Петра, и происходит большевизм, эта не противоположность, но последнее следствие петровского духа, крайнее принижение метафизического социальным и именно потому всего лишь новая форма псевдоморфоза… Ибо большевики не есть народ, ни даже его часть. Они низший слой «общества», чуждый, западный, как и оно, однако им не признанный и потому полный неизменной ненависти…

Теперь о Достоевском. В каком смысле он святой? Вряд ли как личность — но как духовный тип. Для Достоевского между консервативным и революционным нет вообще никакого отличия- и то и то — западное Такая душа смотрит поверх всего социального… Никакая подлинная религия не желает улучшить мир фактов… Что за дело душевной муке до коммунизма? Религия, дошедшая до социальной проблематики, перестает быть религией. Однако Достоевский обитает уже в действительности непосредственно предстоящего религиозного творчества <…> его Христос, которого он неизменно желал написать, сделался бы подлинным Евангелием… Подлинный русский — это ученик Достоевского, хотя он его и не читает, хотя — и также потому — что читать не умеет. Он сам — часть Достоевского. Если бы большевики… не были так духовно узки, они узнали бы в Достоевском настоящего своего врага. То, что придало этой революции ее размах, была не ненависть интеллигенции. То был народ, который без ненависти, лишь из стремления исцелиться от болезни, уничтожил западный мир руками его же подонков, а затем отправит следом и их самих тою же дорогой…

Вот это и есть пророчество Шпенглера о русском народе и дальнейших, судьбах русской революции — абсолютно не сбывшееся, показавшее ограниченность его подходов. Но вот заключение о Достоевском, вообще всей главы о России:

Христианство Толстого было недоразумением. Он говорил о Христе, но в виду имел Маркса. Христианство Достоевского принадлежит будущему тысячелетию.

Для понимания так выстраиваемой Шпенглером перспективы нужно вспомнить некоторые его основоположения. Для него постцивилизационное будущее будет вообще началом некоей новой предыстории, ходом и движением с азов. Он считает, что таким шансом начать что-то поистине новое, небывалое в доселе протекшей истории обладают именно русские, избавившиеся от петровского псевдоморфоза. В частности, и христианство они увидят и покажут по-новому — ибо, как уже было сказано, на Западе настоящего христианства не было. Русские воплотят в новом культурном облике Иоанново христианство, говорит Шпенглер. Здесь нужно сказать о его понимании христианства вообще.

Если фаустовский человек, сила, опирающаяся на саму себя, — пишет Шпенглер,

— в конечном счете принимает решения даже относительно бесконечного, если аполлонический человек, как одно тело среди многих других, решает лишь относительно самого себя, то магический человек с его духовным бытием является лишь составной частью пневматического (то есть духовного. — *Б. П.*) «мы», которое, спускаясь сверху во все, до чего ему есть дело, остается повсюду одним и тем же Как тело и душа он принадлежит лишь самому себе; однако в нем пребывает нечто иное, чуждое и высшее, и потому он со всеми своими воззрениями и убеждениями ощущает себя лишь членом консенсуса, со-гласия, каковое со-гласие в качестве излияния божественного исключает не то что ошибку оценивающего «я», но даже саму возможность его существования. Истина для магического человека — нечто совершенно иное, чем для нас… Бессмысленно даже хотя бы только помышлять о собственной воле, ибо воля и мысль в человеке — это уже действия, производимые в нем божеством.

Русскому читателю более чем понятно, о чем здесь написано: да о русской пресловутой соборности — теме, бывшей основной чуть ли не для всей отечественной философии, от Хомякова до С. Трубецкого, Бердяева и Бахтина. В этой теме действительно обозначена духовная ориентация русских. Хорошо это или плохо — вот эта ориентация? Для Шпенглера такого вопроса как бы не существует, он не оценивает, а описывает. Этот вопрос должны решить для себя мы сами. Но Шпенглер, конечно, в дальнейших описаниях дает богатый материал для возможных оценок.

Одной из характеристик магического сознания, как уже было сказано, является консенсус и отсюда проистекающее убеждение, что ошибки в нем быть не может, или, как пишет Шпенглер: «Поскольку община основывается на консенсусе, ошибиться в отношении духовных предметов она не способна». Он приводит слова Мухаммеда: «Мой народ никогда не может быть согласным в заблуждении». Важнейшее в магических религиях — существование Священного Текста, Слова. Коран по-арабски — «чтение». Таким Кораном претендовало быть в христианстве четвертое, Иоанново Евангелие (а русские создадут в будущем именно Иоанново христианство, пишет Шпенглер). И важнейшая черта этого Текста, Слова, Корана — та, что «единственно строго научный метод, оставляемый неизменным Кораном дальнейшему развитию мнений, — это комментирующий».

Во всем этом трудно не узнать недавнего русского — советского — прошлого. Это же марксизм играл в СССР роль такого Корана, и позволялось его только комментировать, а не развивать или, того хуже, ревизовать. А насчет консенсуса — так тут можно вспомнить не только соборность, но и, к примеру, слова Троцкого, звучавшие приблизительно так: «Партия не может ошибаться, потому что история не создала другого инструмента истины». Все это я говорю к тому, что в большевистском периоде русской истории можно усмотреть не только бунт подонков западничества, но и некую трансформацию основной русской «магической» установки. И тогда возникает сомнение в дальнейших прогнозах Шпенглера: вправду ли русские неграмотные читатели Достоевского прогонят большевиков? (Или, осовременивая вопрос, прогнали ли?) Гнать-то некуда, «чертогона» не получается, бесы — внутри, а не экспортированы Западом, и этому Западу, цивилизации вообще русским противопоставить нечего, кроме того же «консенсуса» и вытекающих из него последствий. О каком Иоанновом христианстве в будущем России можно говорить, если черты именно такого рода религиозности способствовали падению в большевистскую пропасть?

Именно на примере русской истории начинаешь задумываться о правомочности и эвристичности методов Шпенглера. Возникает тема анти-Шпенглера: о цивилизации не как об усыхании культуры и движении к концу истории, а как о новом плодотворном этапе эволюции человечества, ступившего на путь единения, общей судьбы. И нужно постараться увидеть подлинное место России в этом процессе.

2

Итак, Россия до Петра — еще вне истории, это нечто вроде западноевропейской эпохи Меровингов. Петровская же Россия — псевдоморфоз: еще не сказавшаяся культурно и исторически душа заключена в формы чужой культуры. Появление Достоевского, однако, свидетельствует, в каком направлении будет двигаться подлинная русскость после свержения петровского ига: в сторону выявления черт магической души, магической культуры, характеризующейся совместным, согласным пребыванием в истине, каковая истина всегда и только — излучение Божества, а не продукт индивидуальных усилий, как на Западе, в фаустовской культуре. Будущая русская культура, развивающаяся в линии Достоевского, реализует потенции Иоаннова христианства, христианства Слова — как вместилища божественных смыслов, открывающихся только коллективной, соборной душе. Тем самым христианство вообще впервые реализуется в культурной истории, ибо в фаустовской культуре Запада его не было — было только заимствование ритуалов и перетолкованных текстов. Решающий шаг к рождению этой будущей русско-христианской культуры будет сделан, когда русский народ свергнет большевизм, это порождение подонков петровского периода, которые не могли — в силу самой этой, хотя и негативной, связи с русским западничеством — по-настоящему искоренить петровский псевдоморфоз.

Таково резюме мыслей Шпенглера о России, звучащих — нужно это признать — великим соблазном для нынешних русских «красно-коричневых» националистов, заигрывающих к тому же с православной церковью. Авторитет Шпенглера — как-никак выдающегося культурфилософа — может даже не то что подкрепить, но обосновать, да и просто формулировать с потребной ясностью некую программу русского культурно-политического изоляционизма, имеющего в перспективе явно или неявно теократический вариант. Особенно соблазнительно в этом контексте звучит парадоксальная мысль Шпенглера о том, что Запад не знал христианства. Тут нужно сразу же эту мысль энергично опровергнуть, как это не раз уже делали. Сводить христианство к магическому сознанию, конечно же, нельзя: христианство именно и преимущественно — персоналистическая религия, учащая о самоценности человеческой личности. Это и легло в основу «фаустовского» мировоззрения. Утешает, несомненно, то соображение, что «Закат Европы» — сложная книга, не по зубам сотрудникам газеты «Завтра». Но Шпенглер в принципе опасное чтение, как и Ницше. Из них обоих можно, постаравшись, извлечь некие фашистские обертоны, а то, что при этом происходит чудовищное огрубление их мысли, как раз не волнует тех, кто такое огрубление производит. Гитлер имеет такое же отношение к Ницше, как Макашов к Марксу, но кого это волнует на митинге? И вот для того чтобы избежать этого соблазна кажущейся истины — а вернее, иллюзии — о России, требуется Шпенглера опровергнуть в целом, самую его концепцию культуры и цивилизации и ту его мысль, что на цивилизационном этапе истории делать вообще нечего, что история кончилась в цивилизации и ничего творчески-созидательного ныне не происходит. Но прежде чем приступить к этому нелегкому делу, хочется привести еще кое-какие подробности из Шпенглеровых суждений о России: уж очень правильно он говорит. Вот это и есть парадокс Шпенглера: он давал изумительно точную картину культурной истории, но проваливался в прогнозах, хотя замысел был как раз в том, чтобы на основе организмической теории общества нарисовать научно точную картину будущего. Еще раз: он прав даже и в том, что культура исчезла, уступив место цивилизации, и вообще «Аве, Мария» лучше той вульгарной девки, которая называет себя Мадонной, — но все-таки это еще не конец. В современности есть творческие силы. И главное — конфликты нынешнего времени решаются только на цивилизационной, а не на культурной основе. Это будет главная тема дальнейших рассуждений.

Но сначала, как было сказано, еще несколько высказываний Шпенглера о России и русских — опять тема магической души:

Избирательное сродство между русской и магической душой, пожалуй, еще ощутимо, но прасимвол русскости, бесконечная равнина, не находит пока твердого выражения как в религиозном, так и в архитектоническом отношении.

…Отсутствие какой-либо вертикальной тенденции в русском жизнечувствовании проявляется и в былинном образе Ильи Муромца. Русский начисто лишен отношения к Богу Отцу Его этос выражен не в сыновней, а исключительно братской любви, всесторонне излучающейся в человеческой плоскости. Даже Христос ощущается как брат. Фаустовское, совершенно вертикальное стремление к личному совершенствованию представляется подлинному русскому тщеславным и непонятным Вертикальная тенденция отсутствует в русских представлениях о государстве и собственности…

Герой Толстого Нехлюдов ухаживает за своим нравственным Я, как за своими ногтями; именно поэтому и принадлежит Толстой к псевдоморфозу Петровской эпохи. Напротив, Раскольников есть лишь частичка в Мы Его вина — это вина всех Считать даже его грех чем-то собственным есть уже высокомерие и тщеславие Что-то от этого настроения лежит в основе магической картины души Даже консенсус правоверных безличен и осуждает Я как грех, а равным образом и — подлинно русское — понятие правды как безымянного согласия призванных.

Вот эта магическая русская душа не сумела сказаться в петровском псевдоморфозе, говорит Шпенглер, — и отсюда его убеждение, что она еще скажется, что нельзя идти против природы (ведь культура у Шпенглера скорее природное, чем духовное, образование, дух — это для цивилизации, он и порождает со временем цивилизацию. Мысливший в этой линии Блок говорил, что культура стихийна, что стихия и культура — одно, что и привело его к необходимости воспеть большевистский Октябрь). Но вспомним то, что говорилось раньше: именно в большевизме характерно сказались эти особенности русской магической души, возможность реализации которых Шпенглер видит лишь в постбольшевистском будущем. И тут будет очень уместным процитировать русского историка, наблюдавшего весь этот сюжет вживе, в современности. Это Г. П. Федотов, статья 1949 года «Власть и народ»:

Самое содержание нового идеала — коммунизма — оказалось связанным с очень глубокими основами народной этики. Не одна молодежь, но и вся масса, как и интеллигенция российская, были носителями этой этики. Русская этика эгалитарна, коллективистична и тоталитарна. Из всех форм справедливости равенство всего больше говорит русскому сознанию. «Мир», то есть общество, имеет все права над личностью. Идея — сила, пока она царит в типично-русском сознании, не терпит соперниц, но хочет неограниченной власти. Но сколько бы ни было правды в равенстве, красоты в личном самопожертвовании и даже в самодержавии идеи, весь этот комплекс в своей односторонности опасен и может принимать демонические формы… В России не раздался ни один голос в защиту частной собственности. Конфискация всей промышленности была воспринята не одними большевиками как акт почти нормальный и во всяком случае справедливый. Социализм, который никак не укладывается в американскую голову, без труда был принят в России, а не только вколочен насилием.

То есть в коммунизме, как уже говорилось, реализовались многие потенции русской «магической души», «Иоаннова христианства», которым выступил, страшно сказать, марксизм, игравший в России потребную роль Слова, Корана, подвергаемого исключительно комментарию и толкованию, но не развитию. Перспективы здесь нет — мы это уже проходили. Придется России — хочет она или не хочет — ступить в цивилизационную стадию и научиться считать деньги. Как раз это занятие Шпенглер называл невозможным для русских, он писал во втором томе, что русские не то что свергли капитализм, а просто не понимают, что это такое. Придется понять — иначе перспективы нет никакой, ни цивилизационной, ни «даже» культурной.

И тут нужно добавить еще одну тему — позднейшие суждения Шпенглера о послереволюционной России. Он значительно изменил свое представление о большевиках как ничтожных, но наследниках петровско-западного духа в России. В позднейшей книге «Годы решения» он писал:

Азия отвоевывает Россию после того, как Европа аннексировала ее в лице Петра Великого… Большевистское правительство не имеет ничего общего с государством в нашем смысле, каковым была петровская Россия. Подобно кипчаку, царству Золотой Орды в монгольскую пору, оно состоит из господствующей орды — именуемой коммунистической партией — с главарями и могущественным ханом, а также с несметной покорной и беззащитной массой. От настоящего марксизма тут мало что сохранилось, разве что одни наименования и программы. В действительности налицо чисто татарский абсолютизм, который стравливает весь мир и грабит его, не зная никаких границ, кроме, пожалуй, предусмотрительности, — хитрый, жестокий, пользующийся убийством как повседневным средством власти, ежемгновенно грозящий возможностью нового Чингисхана, который свернет в один рулон Европу и Азию.

Это вполне точное описание сталинского СССР, то есть, по-другому сказать, в России даже марксизм был псевдоморфозом.

Получается у Шпенглера, что Россия в сталинском большевизме вернулась к нравам и практике даже не Московского царства, а монгольской орды. Какой отсюда может открыться путь к собственной органической культуре — в этом попятном, противоисторическом движении? Чистота методологической идеи не выдерживает существования в событийном поле. Русское будущее окружает сплошной туман — для Шпенглера по крайней мере.

Но мы-то знаем уже кое-что из этого будущего — в частности, новую попытку России, преодолевшей вроде бы большевизм, вновь приобщиться к западным ценностям, к порядку цивилизации. Попытка, до сих пор сопровождавшаяся неудачей. Значит ли это, что у России действительно есть какой-то, как говорят сейчас, третий путь?

Тут нужно посмотреть, в каком сюжете видит Шпенглер историю Запада вообще — именно современного, после Первой мировой войны возникшего Запада. Тема этой истории — как и этой войны — видится Шпенглеру в противостоянии немецкого и английского духа. Далее цитирую Карена Свасьяна, излагающего в предисловии к первому тому работу Шпенглера «Пруссачество и социализм». В антиномии английского и немецкого духа противопоставлены дух викингов, культивирующих личную независимость, и орденский дух, исповедующий принцип сверхличной общественности. Речь идет фактически о противоположности английского капитализма и немецкого социализма, принципов, основывающихся, с одной стороны, на личностной этике счастья и удачи, богатстве, классовом сознании, утилитаризме, а с другой — на этике долга, ранге, сословном сознании, служении целому, — в итоге: на пиратском инстинкте островитянина, занимающегося под вывеской «свободная торговля» грабежом и уничтожением конкурентов, и на авторитарном инстинкте аскетического самоподчинения государству.

Шпенглер — своеобразный социалист, но социализм, однако, видит отнюдь не по Марксу, вообще не в линии экономического строения общества. Маркс у него как раз «англичанин». Здесь опять же просится цитата:

Маркс мыслит чисто по-английски. Его двуклассовая система выведена из положения народа торговцев, который принес свое сельское хозяйство в жертву торговле и который никогда не обладал государственным чиновничеством с подчеркнутым — прусским — сословным сознанием. Здесь существуют все еще только буржуа и пролетарий, субъекты и объекты сделки, грабители и ограбленные, совсем в духе викингов…

Карен Свасьян резюмирует тему следующим образом:

К страшной неравной борьбе этих принципов — торгашеского и героического — сводит Шпенглер окончательное решение судеб западного человечества.

Мы знаем сегодня, что эта судьба сейчас уже решена: победил торгашеский принцип, который сегодня уместнее назвать уже не английским, но американским. О каком героизме можно говорить в конце XX века, когда у нас в памяти новая попытка немецкого принципа и духа еще раз заявить о себе в очередной мировой войне — как бы измельчившимся и вульгаризованным ни считали мы этот дух в варианте Гитлера. Но дело уже не в Германии и не в Западе вообще — вопрос стоит о России: что она будет делать и должна делать в сложившейся ситуации? Напомним шпенглеровское: нужно желать только возможного — или не желать вообще. Возможное сейчас — цивилизация. Может ли Россия и должна ли противопоставлять этому трезвому проекту какой-либо героизм?

Балканские события заставили еще раз задуматься об этих героизмах. Вывод, однако, можно сформулировать априорно, вне этих опытов: в эпоху ядерного оружия невозможно жить культурными мифами — потребна цивилизационная мелочность, оглядчивость, здравый смысл. Причем этот — цивилизационный — климат — нужно распространить буквально на весь мир, ибо в нынешнем, поистине едином, но до крайности «мультикультурном» мире нельзя ужиться, сосуществовать вне единого, общего знаменателя, которым может быть только рационально выверенная норма цивилизации.

В нью-йоркском еженедельнике «Уикли стандарт» (19.04.99) — органе консервативных интеллектуалов — появилась исчерпывающая тему статья Чарлза Фэрбанка. Обильно ее цитирую:

Начиная с 1945 г. философия Ницше, с ее релятивизмом или, как он еще говорил, нигилизмом, стала распространяться во всем западном мире, далеко выйдя за пределы Германии. В Америке консерваторы стали говорить о «ценностях» — термин протестантской теологии, который Ницше употреблял, чтобы выразить невозможность достижения истины, точного знания об истинном и ложном, о добре и зле. Истина недостижима, но ценности выбираются нами самими — для ориентации в жизни.

Каковы политические последствия этого поистине исторического поворота в человеческом сознании? Это уже однажды продемонстрировал фашистский режим в Германии, сделавший крайние выводы из ницшеанского нигилизма. Либеральная демократия, наоборот, придерживается до сих пор просветительского рационализма в духе XVIII столетия. Она настаивает на том, что оптимальный политический порядок может быть выработан рациональными средствами и что самые различные народы способны включиться в такой порядок. Чем может обернуться модный релятивизм и представление об относительности ценностей для самих либеральных демократий, можно только гадать; но воздействие этого релятивизма на страны, в которых не было либерально-демократических традиций и институтов, уже более чем ясно.

Падение коммунизма, уничтожившее царствование Единой Истины, которая оказалась ложью, открыло в бывших коммунистических странах дорогу подобному релятивизму. Но если никто больше не может с уверенностью сказать, где истина, а где ложь, то единственной живой связью в таких странах будет религиозная или этническая общность. И если к тому же в таких странах существуют чужаки, не принадлежащие к указанным общностям, единственный способ отношения к ним — избавление от них, вплоть до убийства. Это неизбежно, коли дискредитирован рационализм с его общеобязательными нормами, а ценности признаны относительными. Для аутсайдеров

делается попросту невозможным жить в странах, управляемых постмодернистским этническим сознанием. Мир, не принимающий рациональных, на всех рассчитанных норм либеральной демократии, обречен повторить ужасы нацизма.

Вот это и мы видели в Югославии, где режим Милошевича занимался самым настоящим геноцидом, названным на этот раз этнической чисткой. Сочувствовать этому режиму нельзя. Русское сочувствие сербам может быть понятно исключительно в качестве некоего психологического комплекса, идентификации со страной, модельно воспроизведшей посткоммунистическую ситуацию в самой России: род империи, начавшей распадаться. Но нужно понять также, что эту ситуацию нельзя решить на путях, используемых сербами. И русским ли говорить о православно-славянском братстве в стране, где 20 миллионов человек — мусульмане?

А вот еще любопытная информация из американской прессы.

1 мая 1999 года в «Нью-Йорк таймс появилась статья Евгения Евтушенко на тему Югославии. Статья неинтересная: как всегда, распущены поэтические сопли. Что меня заинтересовало в статье, так это приводимые Евтушенко слова Солженицына, сказанные по этому же поводу: что сербы, идущие с женами и детьми стоять на мостах — предполагаемых объектах бомбардировки, вызывают в памяти греческие трагедии. Евтушенко выражает недоумение, граничащее с негодованием: отчего это «Нью-Йорк таймс», помещавшая на первой странице любые полслова Солженицына, когда он боролся с коммунистами, замалчивает его сейчас, вот эти слова замалчивает. Между тем газета, прибегнув к такому умолчанию, можно сказать, спасает в Америке репутацию Солженицына, ибо ничего более безответственного он в жизни не говорил. Еще раз убеждаешься, что «артисты» — опасный народ, готовый за призрак красоты на человеческие жертвы. Жертвуйте собой — но не героизируйте массовый психоз индоктринированных толп. Так ведь и гитлеровскую войну можно назвать музыкальной драмой Вагнера.

Связь политики с культурфилософией у Шпенглера в том, что он решается на политические анализы и прогнозы, исходя из общих предпосылок своей философии истории. Известно, что за культурой, одушевленной вот этим трагическим высоким духом, следует цивилизация — образ жизни расчетливых торговцев. Шпенглер зовет примириться с этим, но видно, что не там лежит его сердце. Свасьян остроумно заметил, что, когда Шпенглер ругает искусство и превозносит коммерцию, от этого выигрывает не коммерция, а искусство. Конечно же нынешний, в XX веке начавшийся мир вызывает у Шпенглера рвотную спазму, и он поистине героически с этим позывом борется: он понимает, что ничего не дано взамен. Всякого рода трагико-героические реакции, понимает Шпенглер, не дадут ничего, ибо культуротворческий порыв утрачен в цивилизации, новые культурные формы уже не создать. А дров наломать можно, и стекол побить, добавим к этому мы, свидетели нынешних балканских трагедий.

В книге Шпенглера, в обоих ее томах есть странный пробел: ни слова о Японии. Конечно, он не был специалистом по Японии, но он не был и синологом, что не помешало ему написать много интересного о Китае, пользуясь наличной литературой. Так же точно он мог бы прочитать соответствующую литературу о Японии и высказаться о ней. Он этого не сделал. Почему? Ответ ясен: Япония в XX веке, в самом его начале, дала выразительнейший пример успешного развития на переходе от культуры к цивилизации, показала, что возможен неоспоримый цивилизационный прогресс, что можно интересно сказаться и в псевдоморфозе. Это опровергает в сущности всю концепцию Шпенглера, доказывая, что не кончается человеческая история с отмиранием культур большого стиля. Да что говорить о Японии, когда на глазах другой пример, грандиознейший: Америка.

Можно без труда догадаться, что в Японии больше всего нравилось Шпенглеру, что он посчитал бы ярким феноменом японского большого стиля: харакири. Примерно то же нравится Солженицыну.